

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Р У С С К О Й Л И Т Е Р А Т У Р Ы (П У Ш К И Н С К И Й Д О М)

Р Русская Литература

№ 1

И С Т О Р И К О - Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

1965

Год издания восьмой

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О « Н А У К А »
Л Е Н И Н Г Р А Д

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Б. Я. БУХШТАБА

Статья Б. Я. Бухштаба, написанная в спокойном тоне и содержащая конкретные возражения, позволяет начать спор о предмете текстологии по основным пунктам и добиться ясности в понимании некоторых вопросов.

Да, текстология наука о тексте!

К сожалению, текстологи при всех их больших практических достижениях мало задумывались над определением понятия «текст». По всей вероятности, этим объясняется, что Б. Я. Бухштаб в своей статье приписывает мне смешение понятий «текст» и «произведение» и произвольно подменяет затем одно другим. Он пишет: «Видимо, правильное было бы говорить в таком случае не об истории текста, а об истории произведения...» А затем забывает о словечке «видимо» и свое предположение выдает за мое утверждение и спорит с ним: «но... история произведения не является самостоятельной наукой». Приписывая мне отождествление текста и произведения, Б. Я. далее пишет: «Но основное, что вызывает несогласие с концепцией Д. С. Лихачева, — это то, что изучение истории текста произведения (или даже истории произведения в целом) он идентифицирует с *текстологией*».

Да, история произведения не может быть предметом особой науки. Это ясно. Но текст и произведение не одно и то же. Б. Я. Бухштаб не обратил внимания на то, что в моей краткой «Текстологии»¹ дано не только определение задач текстологии, как науки, изучающей текст, историю текста, но и определение того, что называть «текстом», что называть «произведением». Если Б. Я. Бухштабу показались недостаточными эти мои определения, — можно было бы обратиться к моей полной «Текстологии», где сделано то же самое более подробно и есть ссылки на другие попытки определения понятия «текст».

Не буду повторять то, что мною уже написано по этому поводу. Я хотел бы только показать конкретное различие между историей произведения и историей того или иного текста (не обязательно произведения). История произведения — это, действительно, история замысла, это повороты авторской мысли, перемены в сюжетных ходах, колебания в концепции характера героя, история образов и т. д. и т. п. В изучение истории литературного памятника входят различные вопросы: влияние других произведений на замысел и на самый текст, изучение прототипов, реальных событий, легших в основу сюжета, разнообразных связей с эпохой и пр. В изучении истории произведения привлекаются показания современников, письма, мемуары, высказывания самих авторов и пр. Поэтому вполне справедливо утверждение моего оппонента, что изучение

¹ Буду называть для удобства мою книгу «Текстология. На материале русской литературы X—XVII вв.» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1962) полной «Текстологией», а книгу «Текстология. Краткий очерк» («Наука», М.—Л., 1964) — краткой «Текстологией». Ссылки на обе эти книги приводятся далее в тексте.

истории памятника не может составить *особой* науки: этим занимается литературоведение.

Речь идет только об истории *текста*, а это совсем другое. Если изучается история текста романа «Идиот», то дело заключается только в изучении текста. Планы романа — это не текст романа. Записные книжки, письма, где отразился замысел и его эволюция, — не текст романа. наброски фабулы, записки к роману, к отдельным его главам или сценам только тогда имеют отношение к изучению истории *текста*, когда в них получает более или менее ясное отражение будущее языковое выражение замысла автора. Текст — это языковое выражение замысла его создателя. Планы романа, записки следует считать материалом для истории текста только тогда, когда в них начинает мелькать будущий текст (например, беглые записи слов действующих лиц, наброски диалогов, поиски отдельных выражений и пр.).

Мой оппонент предполагает, что я готов отождествить историю текста не только с историей произведения, но даже с историей литературы в целом. При этом он цитирует следующее место из моей полной «Текстологии»: «История текста произведения охватывает *все* вопросы изучения данного произведения» (стр. 35). Но надо прочесть весь тот раздел моей книги, где я об этом говорю. Я говорю в цитируемом разделе о том, что изменения текста должны не только констатироваться, но и объясняться, а объяснения изменений текста лежат во всех плоскостях: нужно принимать во внимание, как я пишу, «всю сумму обстоятельств, оказавших воздействие „на полет пули“» (там же). Но разве это мое утверждение означает, что я отрицаю или растворяю баллистику в других науках? Предвидя возможные недоразумения, я на следующей же странице своей полной «Текстологии» пишу: «Само собой разумеется, что история литературы далеко не исчерпывается историями текстов отдельных произведений, но они существенны, особенно в литературе древнерусской». «В какой-то мере история текста произведений может служить для такого литературоведения основой (для какого — я говорю выше: это литературоведение воображаемое — «психоаналитическое», т. е. ненаучное), но это литературоведение будет бессильно построить историю литературы». Следовательно, нельзя, ссылаясь на стр. 35 моей большой «Текстологии», утверждать: «Здесь история текста понимается как будто еще шире, едва ли не отождествляясь с историей литературы».

Изучение истории текста произведения должно считаться с его литературной историей, но в большей мере изучение истории текста предваряет изучение литературной истории. Во многих случаях без предварительного выяснения истории текста нельзя построить более широкую историю произведения. О том, что я считаю историю текста произведения *предваряющей* изучение творческого процесса, а, следовательно, не отождествляю историю текста произведения с историей творческого процесса создания произведения, я прямо пишу в той самой цитате, которую приводит в своей статье сам Б. Я. Бухштаб: «История текста может быть использована не только для публикации: для литературоведческого анализа, для источниковедческого анализа у историков, для реконструкции творческого процесса и т. п.» (стр. 22 моей краткой «Текстологии»).

Б. Я. Бухштаб ссылается на академический словарь, где находится следующее определение текстологии: «Отрасль филологии, занимающаяся установлением точного текста литературных произведений и исторических документов». Но ведь в словаре отражается то значение, которое *принято*, а не то, которое диктуется развитием науки. Что делали бы современные физики, если бы исходили из словарных определений «атома», «молекулы», «времени» и многих других понятий!

Б. Я. Бухштаб ссылается на авторитеты Б. М. Эйхенбаума и Б. В. Томашевского. Но разве все, что сказано крупнейшими исследователями, незыблемо? Авторитет не в непогрешимости, а в том положительном вкладе, который ученые вносят в развитие науки. Разве сказанное Ломоносовым, Менделеевым, Белинским не может быть изменено, развито или дополнено? Б. М. Эйхенбаум и Б. В. Томашевский и для моего уважаемого оппонента — ученые, а не основатели вероучений.

Изучение истории текста имеет особую методику

Текстология не только имеет свой предмет — историю текста (и, как я уже сказал, ни в коем случае не историю произведения как такового), но и свою методику изучения. А ведь наличие особой научной методики — один из признаков, позволяющих говорить о том, что перед нами отдельная научная дисциплина.

Б. Я. Бухштаб пишет, что на звание самостоятельной научной дисциплины могло бы претендовать изучение творческой истории произведений вообще, но не история текста произведений. Но в том-то и дело, что изучение творческой истории не имеет своей особой научной методики. Изучение же изменений текста, установление этих изменений, установление последовательности изменений и т. п. имеет свою методику, интенсивно развивавшуюся еще со времен ученых гуманистов, впервые придавших «критике текста» научный характер. Эта методика с самого начала применялась не только для литературных памятников, но и для исторических. Эта особая дисциплина всегда обслуживала все гуманитарные науки, имеющие дело с текстами произведений и документов. Она не может быть агрессивно включена в одну из наук — историю или литературоведение. Практиками и теоретиками критики текста выступали юристы, библеисты, историки науки, языковеды и т. д. Ее методика всегда была особой, и обмен опытом в этом направлении всегда был интенсивным. По преимуществу на последнем этапе изучения текста — там, где текстолог обращается к объяснениям констатированных им изменений текста, — приходится прибегать к данным истории литературы, психологии, истории и пр.

Изменения текста в черновиках, беловиках, печатных экземплярах и пр. устанавливаются другими приемами, чем изучаются, допустим, прототипы персонажей романа, литературные влияния (эти последние — область сравнительного литературоведения). Текстологу необходимо выявить изменения текста, показать, на каком этапе развития текста каждое изменение возникло. Изменения текста надо расположить в порядке их возникновения. И это опять-таки требует особой методики. Методика эта показана мною в моей полной «Текстологии». Она выработалась на различных материалах: античных, древнееврейских, средневековых западноевропейских и т. д. Но там, где приходится объяснять изменения текста, — там вступают в силу связи с другими науками, вернее — с данными, добываемыми другими науками. Здесь, на этом *последнем* этапе изучения истории текста, приходится прибегать к данным психологии и даже физиологии (например, при объяснении элементарных описок), истории языка, истории замысла произведения, истории литературы, истории в целом и т. д. и т. п. Здесь возникают и существенные различия в текстологии художественных произведений и документов. Но разве есть у нас изолированные науки, науки не «общающиеся» с другими?

Можно ли устанавливать текст, не изучая его истории?

Б. Я. Бухштаб пишет: «...установление текста зиждется не только на истории его и часто даже в основном не на ней». «Не в установлении этой истории основной пафос текстолога, — пишет он же, — а в рас-

крытии и постижении смысла текста — наиболее глубоком, точном и подлинном. Выбор редакции, установление последовательности частей произведения, предпочтение тех или иных чтений, исправление ошибочных чтений, пунктуация — все это нередко зависит больше от углубления в смысл текста, чем от знания его истории». «Тезис Д. С. Лихачева — „показать как развивался текст — значит и объяснить его“ (стр. 66) — представляется мне ошибочным».

Далее Б. Я. Бухштаб пишет: «„Критикой текста“ называют филологический анализ, имеющий целью восстановить подлинный текст произведения. Это как бы совокупность методов очищения и исправления текста, — и преимущественно тут подразумеваются не простые исправления явных описок, опечаток и т. п., а все то, что требует от текстолога размышления, разыскания, догадки, „филологического остроумия“». Мне хотелось бы знать более подробно, что такое «подлинный текст», что такое эти «догадки», «размышления», «филологическое остроумие», «проникновение». Ведь все это совершенно неопределенно. Все это мой оппонент противопоставляет изучению истории текста, которая единственно может дать определенность методу и цели изучения. Моя полная «Текстология» именно и направлена на то, чтобы показать крайнюю сложность и неясность понятий «подлинный текст», «лучший текст», «лучшее чтение», «авторский текст» или «архетип». Я ищу более точной научной методики, чем «догадки» и «филологическое остроумие», и ищу в том, что уже сделано текстологами в прошлом и в разных областях текстологии.

В своей полной «Текстологии» я пишу о том, что, восстанавливая какой-либо текст (один из авторских, «подлинный», «лучший», «древнейший», «архетипный» и пр.), нельзя идти от дошедших текстов, перескакивая через промежуточные этапы, не изучая эти промежуточные этапы. Я пишу о том, что все изменения текста надо рассматривать не порознь, отдельно, а в совокупности, по возможности послойно, в составе какого-то дошедшего или предполагаемого текста. Ведь одно изменение текста почти всегда связано с другими изменениями текста. Так обстоит дело не только тогда, когда перед нами идейные изменения, стилистические, но и тогда, когда изменения являются простыми описками: ведь писцу, автору, редактору свойственны определенные типы ошибок (необходимо изучать причины ошибок).

Далее. Что называть «углублением в текст»? Мне кажется, что в основе такого рода представлений о методе текстолога лежит вера в то, что автор всегда создает в конечном счете текст, обладающий полной внутренней художественной, логической, стилистической законченностью, грамматически правильный, в котором отдельные части настолько плотно пригнаны друг к другу, что они подсказывают исправление в случае ошибки. Поэтому текстолог обычно считает себя вправе отбрасывать как инородное тело отдельные чтения, выбирать «подлинное» чтение и устанавливать «подлинный» текст. Я убежден, что такого рода постулат не может лежать в основе научного метода. Это область, граничащая с верой. Область веры недоказуема, поэтому-то она и требует правил и установлений, канонов и канонических текстов, развивает механические приемы критики текста.

В самом деле. Вот перед нами несколько чтений одного и того же места. Какому чтению отдать предпочтение в издании текста, если при этом не устанавливать исторической последовательности этих чтений и не связывать их с определенными этапами развития текста как целого? С точки зрения Б. Я. Бухштаба, — путем «глубления» в текст. Б. Я. Бухштаб предполагает, что «подлинным текстом» будет тот, который лучше, больше соответствует замыслу автора, более художественен, более логичен, грамматически правилен и т. д. Но откуда известно, что

автор добился окончательного текста, окончательного соответствия замысла его воплощению, добился логичности, художественной законченности и пр., если не исследовать историю текста? Это область веры во всемогущество великого писателя, в его художественную безупречность. Эта вера разбивается конкретным изучением истории текста. Отдельные ошибки свойственны и великим писателям. И у великих писателей может оставаться неудовлетворенность своим произведением. И они в силу бренности своего существования могут оставлять свои произведения не совсем законченными. С этим нужно считаться текстологу. А если с этим считаться, то нельзя возводить в принцип предпочтение «лучшего текста», тем более, что вера в безупречность писателя всегда связана с опасностью веры текстолога в свои собственные медиумические способности проникать в замысел писателя, верно его истолковывать. Это отнюдь не относится к моему оппоненту, который хорошо известен как осторожнейший текстолог. Но кто поручится за других? Ведь догматики могут быть и в области текстологии, а они верят не только в тот текст, который они признают священным, но и в себя как безупречных интерпретаторов и истолкователей воли божества: культ требует жрецов, которые, объявляя себя хранителями и истолкователями божественной воли, тем самым поднимают и себя над остальными людьми. От догматизма избавляет наука. Всякая же гуманитарная наука исторична по своей природе.

В своей большой книге по текстологии я подробно останавливаюсь на том, что отдельные «лучшие» чтения могут появляться на различных этапах развития текста и на различных же этапах заменяться другими, худшими. Восстанавливая тот или иной текст по кусочкам лучших чтений, — мы рискуем создать свой фантастический текст, никогда реально не существовавший. Пусть этот текст будет превосходным, безошибочным, внутренне цельным и пр., но что в нем толку, — если в нем соединены чтения из различных этапов истории текста, если в этом виде он никогда не существовал?

В своей полной «Текстологии» я привожу много примеров того, что лучшее чтение может возникнуть в процессе исправления (писцом, тоже — корректором, редактором) худшего или того, что кажется текстологу худшим чтением. Разве такие случаи бывают только в древней литературе? Даже писцы не только плодят ошибки, но иногда *исправляют* ошибки оригинала, иногда *улучшают* текст идейно и художественно. А кто поручится, что такие же случаи не могут быть и в нашей литературе? Например — когда редактор или корректор работают после смерти автора. Разве редактор издательства всегда только портит текст рукописи, а не вносит, хотя бы иногда, и улучшения? Ведь тогда окажется, что текст, возникший после смерти автора, после выражения им «последней авторской воли», лучше авторского. Значит, выбирая текст («подлинный» или «канонический»), текстолог не имеет права основываться только на своем чутье «лучшего», «правильного» и т. п. Волей или не волей текстологу надо будет углубиться в историю текста. Иными словами, ему надо будет установить, какой текст был у автора, какие изменения внесли без его согласия редактор, корректор и другие лица, а это не делается путем простой догадки и выбора лучших чтений порознь. Конечно, в простых случаях, когда по существу история текста несложна, можно исправлять опечатки путем элементарной догадки, но разве именно простые случаи должны в первую очередь предусматривать методика науки? Говоря о методике науки, мы должны представлять себе методику, рассчитанную на преодоление действительных трудностей.

Вместе с тем, один и тот же текст или одно и то же изменение текста может иметь различное текстологическое значение в зависимости от

того, кем оно сделано и для чего. То или иное место текста, рассмотренное вне его истории, может показаться абсолютно правильным, ясным и не тенденциозным. Но вот текстолог исследует историю текста как единого целого и устанавливает, что в интересующем нас месте сделан пропуск нескольких слов, существенно и тенденциозно меняющих его смысл. И тут текст ясный, простой, логичный, художественно оправданный и не тенденциозный сразу оказывается текстом хотя и по-прежнему ясным, но тенденциозным. Его идейная нейтральность — вторична и, следовательно, тенденциозна. На примерах древней литературы я показал такие возможности, но почему отрицать возможность таких же «удачных» изменений текста в новой литературе — цензурных хотя бы?

Объективное объяснение текста — только в его истории. Б. Я. Бухштаб говорит, что исправить текст (исправить ошибочные чтения) можно и не углубляясь в историю текста. Но разве констатация ошибочности текста не является уже установлением факта его истории — пусть самого незначительного? История текста не обязательно сложна, она может быть и совсем простой. Важен принцип. Исправляя ошибку, мы предварительно констатируем, что здесь ошибка, т. е. уже предполагаем некоторую историю данного места текста.

Из всего сказанного следует: самый верный и объективный способ «углубления» в смысл текста — это изучение его истории. Только тогда становится ясным смысл текста, только тогда мы получаем точное представление о тексте. Но может быть так: при истолковании одних мест история текста необходима, а при истолковании других случаев (простых) не нужна? Нет, текст изменяется как единое целое. Необходимо изучить историю текста как целого, установить этапы его развития, его разные редакции и последовательность их возникновения, обращая внимание на то, чтобы не соединять различные этапы развития текста, не выбирать «лучшие» чтения из разных слоев текста и не создавать тем самым текст, пусть и ясный, но никогда не существовавший. Текст должен изучаться комплексно, как целое, и выбор чтений должен основываться на научных представлениях об истории текста как целого.

А как быть, если полностью и точно установить историю текста не удастся? Каждый текстолог знает, что это случается очень часто; сохранившийся материал нередко не позволяет точно решить многие вопросы истории текста. Вот в этих случаях приходится прибегать к правилам, к различного рода формальным способам выбора текста. Формальные правила подготовки текста мною не отвергаются. Но надо понять, что к этим механическим приемам мы только *вынуждены* прибегать, когда невозможны исторические. Но во главе всего должны быть требования науки, точности, *исторического* изучения развития текста. Выбор текста по возможности на основе знаний о тексте, а не на основе простого «проникновения» в текст.

Изучение истории текста и техника его издания неразрывны

Б. Я. Бухштаб предполагает, что я хочу «теоретически и практически сепарировать текстологию от работы по изданию текста». Напротив! Я только и твержу о том, что все приемы издания текста должны основываться на изучении его истории. Но должна быть последовательность, а не смешение разных этапов одной работы и не должно быть представлений о том, что изучение истории текста нужно *только* для задач издания.

В тот момент, когда исследователь изучает историю текста, он должен именно изучать историю текста, а не забегать вперед, как это было в старых работах, когда филологи, минуя промежуточные этапы истории

текста, восстанавливали сразу то, что им казалось авторским, «подлинным» текстом, неизбежно руководствуясь субъективными соображениями.

Теперь о месте публикации статей по истории издаваемого текста. Моему оппоненту кажется, что я возражаю против публикации такого рода исследований после изданий текста. Но место публикации может быть любое — лишь бы это было удобно. Вопрос о месте статей — вопрос частный, и я о нем вообще не говорю. Я говорю о том, что *исследования* по истории текста должны хронологически предшествовать работе по подготовке публикации, а публикации — основываться на данных истории текста (по возможности, разумеется, — когда эти данные удастся добыть).

В самом деле, продолжим мою аналогию, затронутую Б. Я. Бухштабом. Техника издания текста относится к изучению истории текста, как агрономия к ботанике. Я не настаиваю на точности этой аналогии. Всякие аналогии относительны. Но важно, что ботаника не может изучать только то, что нужно непосредственно для еды. Потребности человека шире. Нельзя заставить ботанику ограничиваться в изучении растений только, допустим, пшеницей, а в изучении этого злака изучать только зерна. Растительный мир составляет растительную ассоциацию, а пшеница — явление органически целостное, которое нужно изучать как целое. Этим обуславливается то обстоятельство, что ботаника должна быть подчинена практическим задачам в *конечном счете*. Научное изучение может быть заторможено, если от каждой проблемы требовать решения непосредственных узко практических задач. В конечном счете пострадает и практическое использование результатов науки.

Должна быть последовательность задач и последовательность в их разрешении. Установление этой последовательности связывает задачи, объединяет их в единое целое, а не разъединяет.

Мой оппонент предполагает, что если вывести эдиционную технику за пределы текстологии, то тогда вопросы издания начнут решать «практики издательского дела на основе утвержденных их начальством технических инструкций». Да нет же! Я именно и предлагаю основывать издания текстов на внимательном изучении истории текста, создавать правила издания (а без них, разумеется, нельзя), опираясь на конкретное знание истории текста, а во вторую очередь — на требования издательского характера. Именно выводы научного исследования должны лежать в основе издательской техники. Поэтому-то научные выводы должны предварять собой выработку издательских правил. Поэтому-то эдиционная теория и практика *венчает* собой изучение истории текста.

Что ж тут обидного для техники издания текста, что я помещаю ее в конце книги? Может, последнее место наиболее почетно в данном случае? Это вершина пирамиды. Последнее место — ближе к практике, к сбору урожая. Ведь если сравнивать издание текста с агрономией, то его же можно сравнить с уборкой урожая. Эдиционная техника выдает «на-гора» то, что где-то в недрах науки подготавливает изучение истории текста.

Если мы назвали текстологией изучение истории текста, то не лишает ли это обстоятельство, как думает мой оппонент, названия «область филологической деятельности, имеющую большое практическое и научное значение» — деятельность по изданию текстов? Мне представляется, что опасности в этом нет никакой. Для этой области уже давно существуют хорошие названия — «эдиционная техника» или «техника издания текстов». Но вопрос этот можно обсудить. Можно оставить эдиционную технику в пределах текстологии. Я и сам, замечу, в этом вопросе колеблюсь: в полной «Текстологии» я назвал раздел «Техника издания текстов» «главой» (тринадцатой), а в краткой «Текстологии» — «приложением». Это не имеет принципиального значения и не наносит никому обиды, не имеет отношения к местничеству в науке.

Принципиальное значение имеет то, что технику издания текстов я рассматриваю в конце — после вопроса об изучении истории текста. И это сделано не для того, чтобы уронить значение этой крайне важной области, а потому, что издание текстов, повторяю, должно строиться на данных их истории.

Задачи «охраны текста»

Помимо научного определения того, что такое текстология, у Б. Я. Бухштаба есть и эмоционально-художественное. Текстологию он называет «хранительницей и стражем национальной культуры в ее (культуры, — Д. Л.) высших проявлениях». И эти задачи он тут же противопоставляет задачам исследования истории того или иного памятника.

Признаюсь, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Разве можно «стража» и «хранительницу» противопоставлять изучению? Что значит «страж»? — как это определяет существо научной деятельности? Если «страж» ходит с винтовкой и не подпускает к доверенному им добру разного рода «нарушителей», то ведь это еще не задача науки, — это задача очень почтенная, но задача караульного. А задача изучения — это задача науки, и она может иметь некоторое значение для целей охраны. Ведь существует у нас охрана памятников культуры; учреждения, занимающиеся этим, черпают данные у историков искусства, у археологов, у историков и историков литературы. На основании их данных они составляют списки памятников, находящихся под охраной государства, и на основании этих исторических данных отстаивают их сохранность. Опять мы приходим к тому же выводу: изучение истории предшествует практическим задачам, и нельзя поэтому практику охраны строить независимо от изучения охраняемого. Надо знать, *что* охранять, и в зависимости от этого создавать планы, *как* охранять. Но дело не только в этом. Само по себе знание истории памятника имеет уже большое значение для его охраны. Поэтому-то во всем мире учреждения, ведающие охраной памятников, всегда занимаются распространением точных исторических сведений о памятнике и изучением их истории.

Изучение истории текста закрепляет этот текст, делает его ясным даже в своих неясностях, так как неясное место по смыслу часто становится ясным по своему происхождению. Текст какого-либо произведения (например, стихотворения известного поэта) неустойчив иногда не только потому, что ошибались наборщики и корректоры, но потому еще, что сами текстологи спорят о том, какой из существующих текстов более «правилен». Решить их споры может только выяснение истории текста. Мне кажется, что устойчивость текстов классиков создается не решениями редакционных коллегий и правилами (те и другие легко могут быть отменены и заменены другими), а изученностью текста, изученностью его истории. В «закреплении» нуждается не только тот текст, который издается в собрании сочинений, но и любая редакция текста — даже и та, которая не предназначается для публикации: эта редакция тоже должна иметь исторически ясный текст. Незаконченные редакции в силу своей незавершенности не всегда имеют текст ясный по логическому и художественному смыслу, но *каждый* текст, даже только намеченный, может иметь *свое* историческое объяснение, *свой* исторический смысл, объяснение *своего* происхождения.

Текстология не противостоит критике текста

Теперь несколько слов о термине «критика текста». Подход к тексту несомненно должен быть критическим, и я всячески в своих статьях и книгах по текстологии выступаю против некритического отношения

к тексту. Но одно дело — нужно или ненужно критическое отношение к тексту, а другое — удобен или неудобен термин «критика текста».

Впрочем, последний вопрос несколько запоздал. Термин «текстология», введенный Б. В. Томашевским вместо термина «критика текста», принят в советской науке и распространяется сейчас под влиянием советской науки и в других странах. Нет необходимости настаивать на сохранении двух терминов для одного и того же. Но термин «критика текста» может употребляться несколько в другом смысле, чем он употреблялся ранее, — для обозначения *метода* текстологии. Я так и предлагаю. Есть химия и есть химический анализ. Есть текстология и есть «критика текста». В последнем смысле этот термин может закрепиться.

Впрочем, поделюсь по поводу этого значения термина «критика текста» одним сомнением. Слово «текст» поставлено в этом термине в единственном числе («критика текста», а не «критика текстов»). Это в известной мере связано со старыми методами исследования текста. Брался только один текст, и этот текст путем «углубления» в него и «размышлений» над ним освобождался от ошибок. Сейчас текстологическое исследование ведется не совсем так. Текстолог обязан прежде всего привлечь все сохранившиеся тексты и в основном сопоставительным путем выяснить «генеалогию» дошедших текстов. Только в том случае, если нельзя добыть *все* тексты, текстолог исходит из одного сохранившегося текста. Может быть, именно поэтому А. А. Шахматов и не употреблял термина «критика текста».

Еще о каноническом тексте

Мой оппонент пишет: «...по мнению Д. С. Лихачева, выработка канонического текста не является естественным результатом прочтения и установления текста, — она является *лишь* (курсив мой, — Д. Л.) результатом издательских соображений». Это не мое мнение. И то, что это не моя точка зрения, ясно даже из непосредственно перед этим приведенных Б. Я. Бухштабом цитат из моей краткой «Текстологии». Я говорю, что подготовка к изданию всякого текста — канонического и неканонического — опирается (как и все процессы подготовки текста к изданию) на данные изучения его истории и во вторую очередь на издательские соображения. Я пишу, например: «Итак, создавая композицию собрания сочинений того или иного автора, необходимо в первую очередь считаться с данными изучения истории произведений... и во вторую очередь — с типом и целями издания. Совершенно неверно утверждение некоторых текстологов о том, что, создавая композицию издания, в первую очередь необходимо считаться с типом издания» (стр. 92). То же касается и выбора текста для издания: выбор делается из чего-то, из каких-то определенных текстов, значит эти тексты надо установить, надо знать их положение в истории текста — знать, когда они созданы и при каких обстоятельствах. Только в самых элементарных случаях мы можем ограничиться прочтением текста, его установлением и подготовкой к изданию (кстати, все эти три понятия различны и отражают разные этапы работы текстолога). Но ведь наука должна предусматривать сложные случаи, а не ограничиваться простейшими.

Признаться, я не совсем уясняю себе, что означают следующие места статьи моего оппонента: «...на канонический текст следует, я полагаю, смотреть как на неперемutable задание текстолога, но ни в коем случае не как на текст, не подлежащий изменениям». «Ученые часто не соглашаются между собой, спорят, отстаивая то или иное чтение, — поэтому установление всеми принятого текста далеко не всегда возможно; важно, что каждый текстолог стремится к выработке канонического текста». Иными словами: «дорог не подарок, дорога любовь». Но тогда

какой смысл имеет вообще этот термин «канонический», т. е., по определению словарей русского языка, «узаконенный», «утвержденный в качестве образца», «незыблемый» или еще «утвержденный в качестве церковного канона, причисленный к лику святых»? Если даже отбросить церковное значение слова «канонический», а оставить все остальные его значения, то как можно, например, устанавливать в качестве образца текст не установившийся и *утверждать* то, что ни на какой *тверди* не стоит? Проще в таком случае сказать, что никакого канонического текста нет и не может быть, так как предвидеть научные выводы за много лет вперед нельзя.

Канонический текст тем не менее нужен для целей издания, но подготавливается он всеми данными по истории текста произведения, учитываемыми публикатором.

Кстати, о том, почему нужен реальный, а не воображаемый, как недостижимая цель, канонический текст. Конечно, нельзя для каждого издания текста готовить его заново. Но дело не только в экономии. Надо еще добиваться единого текста в изданиях для широкого читателя потому, что различия в разных изданиях одного и того же произведения разрушают художественное впечатление от произведения при повторных чтениях. Так, например, если стихи Пушкина будут в разных изданиях иметь частично различный текст, то это вызовет резко отрицательную реакцию у читателей, которые любят определенный, знакомый им с детства текст. На это редко обращают внимание.

Еще несколько слов о смысле произведения, его замысле и авторской воле

Мой оппонент видит противоречие в том, что я считаю изучение истории текста произведения некоторым нарушением авторской воли. Он пишет: «С одной стороны, согласно неоднократным его (т. е. моим, — Д. Л.) утверждениям, по-настоящему понять смысл произведения можно только на основе истории текста, с другой стороны, раскрытие этой истории разрушает то восприятие, на которое рассчитывает автор. Выходит, что автор заинтересован в том, чтобы читатель не мог полностью проникнуть в смысл его произведения». Интереснейший вопрос, поставленный Б. Я. Бухштабом, еще, как мне кажется, не привлекал к себе пристального внимания исследователей. Разумеется, он выходит за пределы текстологии и даже литературоведения. Между тем он очень важен. Я постараюсь на него ответить. На эту тему я уже отчасти писал.

Всегда ли точно восприятие произведения читателем, зрителем, слушателем совпадает с намерениями и замыслом автора, художника, композитора? Если вообразить себе идеальное восприятие произведения, — должно ли оно идеально же отразить намерения автора? Нет, конечно. Ведь не мог же, например, Шекспир предусмотреть все особенности восприятия его произведений в XX веке — например, зрителем и читателем советским. Тот зритель, которого он воображал, когда создавал свои произведения, был лондонцем конца XVI и начала XVII века. Он не был в его представлениях зрителем Козинцева или Охлопкова. Следовательно, замысел автора только частично осуществляется в восприятии читателя, зрителя, слушателя. Значит ли это, что что-то утрачено от этого замысла? Да, кое-что несомненно утрачивается, но многое и прибавляется. Я уверен, что многое сказано Шекспиром сверх того, что он хотел сознательно сказать. Через Шекспира мы говорим с эпохой, с гуманистическими идеями его времени, с его гениальным мировоззрением, которое выражалось иногда в его пьесах как нечто само собой разумеющееся. Раз в другую эпоху произведение воспринимается чуть иначе, то что же удивительного, что исследователь может узнать о произведении изу-

чаемого автора больше и точнее, чем он сам хотел сказать им своим читателям? Пушкин, Шекспир, Толстой были бы изумлены исследованиями об их творчестве. Они бы, может быть, узнали о себе больше, чем они знали о себе сами (в исследованиях по стилю, мировоззрению, в установлении источников их произведений и т. д.). Это не шутка. Над этим стоит задуматься. И разве это можно отрицать?

Значит, исследователь, изучая черновики, изучая историю текста произведения, может тоже сказать что-то о творчестве писателя, что не входило в его намерения. Ведь черновики-то часто уничтожались, а некоторыми авторами даже очень тщательно.

Произведение гениального писателя почти всегда больше, чем его замысел. Смысл и замысел не одно и то же. Смысл больше замысла. И в известной мере нарушая замысел, т. е., вернее, выходя за пределы замысла автора, текстолог глубже проникает в смысл произведения. Поэтому-то так привлекательны результаты работы текстолога для истолкователя творчества писателя.

Итак, если мы разграничим понятие «смысла» произведения и его «замысла», — никакого противоречия не будет. Нарушая волю и замысел автора, можно иногда глубже проникать в смысл произведения.

Текстолог нескромен, он заглядывает к автору и с парадного хода и с черного, читает и толкует черновики, не предназначавшиеся для чтения, рассматривает отмененные варианты произведения. Он не ограничивается окончательным текстом, он рассматривает всю его историю. Он нарушает «последнюю волю» автора в своей исследовательской работе, но он тем самым все глубже проникает в смысл произведения. Больше того: текстолог *издает* черновики, *издает* отмененные автором тексты произведения.

Значит ли это, что текстолог всегда *должен* нарушать волю автора и при издании текста его произведения? Нет, текстолог должен хранить волю автора и охранять текст его произведения в своей практической, издательской работе, но только на основе строгого изучения и текста и воли. В издании черновиков сохранять авторскую волю невозможно. В изучении истории текста сохранение авторской воли, конечно, тоже не может быть главной задачей. В остальных случаях текстолог должен следить не только за смыслом произведения, но и за его замыслом, изучать тексты с точки зрения воплощения в них меняющегося, развивающегося замысла писателя. Все следует делать «с рассуждением», вникая не только в тексты, но и в их историю.

Теперь о последней авторской воле. Я не согласен с утверждением моего оппонента, что я демонстрирую с первых страниц книги свою неприязнь к принципу авторской воли, что я «насмешливо говорю» об этом принципе и пр. Признаю: немного иронический тон свойствен всей моей краткой «Текстологии». И это потому, что критический дух я считаю органическим свойством науки. Я не только за критику текста, но и за критику существующей текстологии — и зарубежной, разумеется, и советской. Это не значит, что я отрицательно отношусь к текстологии, «объективно ее принижаю», как любят иногда у нас выражаться, или еще что-нибудь в этом роде. Наука не может развиваться в самодовольстве. Нельзя удовлетворяться достигнутым. Необходимо подвергать критике и то, что кажется несомненным.

Речь у меня идет вот о чем. Проблема авторской воли очень важна и интересна, но она мало изучена. Пока не изучена природа и эволюция авторской воли, нельзя ее фетишизировать, нельзя превращать какую-то неизученную «последнюю авторскую волю» в юридический принцип. А между тем это не всегда, но иногда делается. Объявляется выражением последней авторской воли последний текст, а автор его плохо исправил или вообще охладел к своему произведению и поручил править текст

своим друзьям, или согласился с их поправками, не подумав, или изменил свои убеждения, или поддался давлению цензуры, или... или. Эти «или» могут быть так же разнообразны, как и сама жизнь. Следовательно, авторскую волю нужно очень внимательно изучать. В ней нельзя видеть засвидетельствованное нотариально завещание, а если действительно окажется, что завещание есть и оно даже засвидетельствовано, то надо и тут не спешить вставить на точку зрения юридическую (пример — авторская воля Гончарова в отношении «Необыкновенной истории»).²

Я призываю не нарушать авторскую волю, а изучать ее и считаться с ней во всей полноте знаний о ней. Ведь может быть авторская воля, а может быть и авторское «безволие». Мы только тогда сможем точно выполнить авторскую волю, когда ее изучим научно.

Для того чтобы вернуть текстолога к текстологическому, а не юридическому отношению к авторской воле, я и пишу в начале своей книги, что текстолог, читая черновики, выясняя историю текста, часто нарушает авторскую волю, нарушает намерения автора, которые всегда сводятся к тому, чтобы его текст читался в той последовательности, в которой он его преподносит читателю в окончательном виде, чтобы читатель не видел кулис творчества. Ведь театральный декоратор не рассчитывает на то, чтобы зритель сидел сзади сцены. Почему же не видеть, что и автор не рассчитывает на читателя, который будет изучать его записки, планы, черновики, его «непарадный» текст.

А раз текстолог уже самой своей работой нарушает авторскую волю, чтобы ее лучше восстановить, то пусть он не фетишизирует авторскую волю, а изучает, видит все ее колебания, все неясности, «темные места», творческие и нетворческие моменты и только после этого выносит свое решение. Не может быть приговора без суда и следствия. Вот о чем только я и говорю. И если следователю напоминают, чтобы он критически относился ко всем уликам виновности, то это не для нарушения законности, а, напротив, для ее утверждения.

Необходимо внимательно изучать историю текста, ко всему относиться критически, понимать относительность многих понятий, задумываться над точностью не только нашей терминологии, но и над точностью многих наших представлений, взвешивать и соразмерять, добиваться во всем полной осведомленности.

Да, текстолог в конечном счете выбирает текст, в котором воплощена последняя творческая воля автора (оговорка о творческом характере авторской воли очень существенная — отсылаю к работам проф. К. Гурского³), но текстолог может это сделать только после того, как вся эво-

² На первом листе рукописи «Необыкновенной истории», хранящейся в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде, имеется следующая надпись: «Из этой рукописи, после моей смерти, может быть извлечено, что окажется необходимым, для оглашения, только в том крайнем случае, который указан в *Примечании* (помещенном в конце рукописи на 50-м листе), т. е. если бы в печати возникло то мнение, те слухи и та ложь, которые я здесь опровергаю! В противном случае — прошу эти листы, по воле умирающего, предать огню (*зачеркнуто*: Январь, 1876 года, И. Гончаров) или же хранить в Имп. Пуб. Библиотеке, как материал для будущего историка Русской литературы, Июль 1878 года, И. Гончаров» («Необыкновенная история». Неизданная рукопись И. А. Гончарова. Сборник Российской Публичной библиотеки, т. II, Материалы и исследования, вып. I. Пгр., изд. Брокгауз-Ефрон, 1924, стр. 176—177). Тем не менее текстолог Д. И. Абрамович издал этот интереснейший для науки документ, нарушив волю И. А. Гончарова. Между тем А. Ф. Кони, действуя как хороший знакомый И. А. Гончарова, призвал Д. И. Абрамовича к судебной ответственности за нарушение авторской воли. На этом примере ясно видно различие научного отношения к последней авторской воле и юридического.

³ Co rozumieć należy przez wolę autora przy sporządzaniu poprawnej edycji tekstu. В кн.: K. G ó r s k i. Z historii i teorii literatury. Seria druga. Warszawa, 1964, стр. 264—280.

люция и все особенности авторской воли им внимательно и детально изучены, а не раньше, как это часто бывает, к сожалению.

У меня нет неприязни к принципу авторской воли, у меня есть неприязнь к слишком скорому, механическому, «облегченному» его применению.

Противоречия и неточности

Теперь о других «противоречиях» в моей краткой книге. Противоречием Б. Я. Бухштаб считает то, что главку о прочтении текста я помещаю между главой об основных понятиях текстологии и главой об изучении истории текста. Б. Я. Бухштаб утверждает, что тем самым я признаю, что текстология занимается не только исследованием истории текста, а и его прочтением или установлением. Но ведь ясно, что подобно тому как нужно предварительно условиться о терминологии, так нужно и прочесть текст прежде, чем изучать его историю. Прочтение текста, как видно даже из той части моего рассуждения на эту тему, которая цитируется моим оппонентом, подчинено задачам изучения его истории и уже включает в себя элементы этой истории, оно невозможно без элементарных предварительных представлений об истории текста. Поэтому-то текстолог в своей работе вынужден возвращаться к уточнению своего прочтения текста (см. стр. 20—21 краткой «Текстологии»).

Почему я сказал, что в создании конъектур восстановление истории текста «иногда» важнее, чем восстановление правильного текста. Следуя ходу моих мыслей, Б. Я. Бухштаб считает, что я должен был бы сказать «всегда». Признаю свою неточность. Но ведь восстановление «правильного» текста есть тоже воссоздание его истории — иным только, опосредствованным способом. Поэтому я не ошибся, а недостаточно ясно выразился.

Об остальных мнимых моих противоречиях и неточностях я уже говорил.

Еще одно замечание. В области текстологии древнерусских памятников существуют точные определения того, что следует называть «редакцией», «произведением» и пр. Поэтому я не могу признать то смешение этих понятий, которое можно усмотреть в следующем абзаце статьи моего оппонента: «...редакции могут настолько разойтись между собой, что разрушится идентичность произведения, и речь, в сущности, должна будет идти уже о двух или нескольких произведениях». Далее Б. Я. Бухштаб приводит пример — две редакции «Тараса Бульбы», «Портрета» Гоголя и т. п. Так что же это — две редакции или два произведения под одним названием? Мне кажется, что здесь сказывается общий недостаток текстологии нового времени: отсутствие точного определения основных понятий текстологии («текст», «произведение» и пр.). Отрицая возможность единой текстологии, почему все-таки не обратиться за этими определениями к текстологии античной литературы, к средневековой западной и пр., где эти определения имеются? Тогда не пришлось бы писать о «редакциях», которые, «в сущности», являются «произведениями», и отождествлять историю текста произведения с его историей и пр.

Просьба к моим оппонентам

Наконец, одно небольшое замечание, небольшая просьба. Моя краткая «Текстология» — это «тезисы, объявляемые перед спором» (стр. 4). Об этом я пишу, и это место моей книги цитирует мой уважаемый оппонент. Но спор не может идти только по тезисам: необходимо принимать во внимание всю аргументацию и тот материал, на который опирается эта аргументация. Следовательно, в споре со мной надо принимать во внима-

ние и мою полную «Текстологию», и статьи, которые я писал по вопросам текстологии и в которых я все-таки не ограничиваюсь материалом древнерусской литературы.

То обстоятельство, что моя полная «Текстология» основывается по преимуществу на материале русской литературы XI—XVII веков, не может служить препятствием для ее использования в споре по всем рассматриваемым в ней вопросам. Я вовсе не сторонник того, чтобы все решительно принципы и приемы одной области текстологии механически переносить на все другие — с древнерусской литературы на новую русскую, на античную, на западноевропейскую средневековую, на восточную и пр., но нельзя огульно отрицать возможность выявления общих принципов текстологии. Вопрос об общих принципах требует конкретного рассмотрения в деталях. Необходимо обмениваться опытом по каждому вопросу отдельно, и тогда, я уверен, многое окажется общим. Приемы критики текста античных авторов или западноевропейских уже дали многое для текстологии новой русской литературы, и было бы неблагодарным этого не замечать или отрицать. Текстология новой русской литературы не развивалась изолированно от текстологии западноевропейской. У нее было хорошее, в общем, окружение мировой науки. Она не родилась как Афина из головы Зевса. Вместе с тем наша текстология новой русской литературы оказывает сейчас влияние на ученых всего мира. Текстологи новой русской литературы повлияли на специалистов по древней русской литературе. Но не следует забывать и того, что из текстологической школы академика В. Н. Перетца, занимавшегося древнерусской и древнеукраинской литературами, вышли многие видные текстологи новой русской литературы.

Будем больше присматриваться друг к другу и не будем прятаться за «специфику материала». Поэтому-то я прошу в споре со мной принимать во внимание все то, что я по тем же вопросам рассматриваю на материале древнерусской литературы. Если есть различия, — их нетрудно отбросить. Между нами больше общего, чем это может показаться. Выделить в большом материале различных литератур общее, поддающееся одинаковым способам текстологического изучения, не только возможно, но и нужно.

